



В блестящей плеяде мастеров советского искусства видное место по праву принадлежит народной артистке СССР С. Гиацинтовой (1895—1982 гг.). Ее творческая жизнь была тесно связана с МХАТом, а с 1938 года — с Московским театром имени Ленинского комсомола. Актриса оставила яркие воспоминания, в которых поднят целый пласт русской культуры. Книга эта — «С памятью наедине», фрагменты из которой мы публикуем, выходит в издательстве «Искусство».

УРОК СЛУЖЕНИЯ ИСКУССТВУ

Из предисловия
Сергея Образцова

...те из вас, кому сейчас двадцать, тридцать, сорок, даже пятьдесят, никогда с людьми, о которых написала Гиацинтова, не встречались и ни участниками, ни свидетелями описанных ею событий не были. Так, может быть, книга эта и не взволнует вас так, как меня взволновала рукопись?

Нет, взволнует. Обязательно взволнует прежде всего потому, что она горячая и очень талантливая. Разговорный прием личного, абсолютно личного обращения к читателю создал великолепный стиль всего повествования. По существу, это монолог. На протяжении часов и часов с вами будет доверительно, страстно и смело говорить человек, которого вы полюбите и которому во всем поверите...

...Я знала, что Станиславский, выйдя из Кисловодска в Москву. Тем не менее, когда однажды в декорационном сарае предо мной возникла прекрасная громада — у меня подкосились ноги...

— Здравствуйте, Константин Сергеевич, — тихо проговорила я вмиг пересохшими губами.

Он протянул мне руку ладонью вверх, как маленькой.

— Почему вы пришли к нам?..

— Я очень люблю Художественный театр...

Он вскинул на меня яркие глаза из-под черных тогда еще бровей.

— А вы умеете ходить по те-

атру? — спросил он... И было неясно — то ли со мной говорит как с ребенком, то ли сам дитя. — Надо идти тихо-тихо, чтобы не нарушить репетицию. Надо беречь работу театра. Вы поняли?

И пошел от меня на цыпочках — большой, легкий, сказочный.

Станиславский поразил меня сразу и навсегда. Его внешность была точно придумана, такой второй не сыщешь: огромный рост — и грациозная пластика, демонические брови — и ясные глаза, свирепый взгляд — и простодушная улыбка. А все вместе — немислимая гармония, красота, сила, артистизм, удар по сердцу и воображению. Он, ослепив меня при первой встрече, на всю жизнь так и остался — солнцем и грозой. И еще, с того дня, слыша за кулисами неосторожные мужские шаги или небрежную дробь женских каблучков, я вздрагивала и вспоминала из «Пер Гюнта»: «Не гневаясь, прекрасная земля, что я топтал тебя без пользы».

В какой-то счастливый, как оказалось, день я беспечно шла по коридору — и нос к носу столкнулась с Москвиним. Хитрые, умные глаза уставились на меня охотничьим взглядом, потом раздалось нечленораздельное бормотание: «Да, вполне, отчего же...»

— Иван Михайлович, ради бога, что?.. — заволновалась я.

— Помалкивай, — кратко приказал он и за руку втащил меня в зрительный зал.

Там было темно, только над режиссерским столом круг света — в нем сияла уже знакомая седая голова Станиславского. Он посмотрел на нас, тоже непонятно пробубнил Москвину: «Что ж, можно... увидим...»

снова взглянул на меня и улыбнулся:

— Да не пугайте вы ее, объясните.

Оказывается, возобновляют «На всякого мудреца довольно простоты». А у Коонен, играющей Машеньку, приступ аппендицита...

Дальше все было как во сне. Привыкшая к каждому выходу на сцену как к ответственной роли (спасибо Лужскому), я собралась и не позволила себе испугаться. Молча взяла тетрадку и ушла в будку помощника режиссера Мчедлова. Память у меня была отличная, а тут слова просто врезались в мозг. Я так сосредоточенно учила текст, что, кажется, обвалился потолок, — не заметила бы.

— Софья Владимировна, вы готовы? — раздался громовой голос Станиславского.

— Да, Константин Сергеевич, — бессильно пискнула я.

— Тогда прошу. Дайте свет. Маруся, — на сцену.

Улыбающаяся Мария Петровна Лилина, игравшая Турусину, подвела меня к диванчику и, нежно проведя руками по моим плечам, усадила рядом с собой. И тут на меня слетело то лихое вдохновение, которое обычно бывало только дома перед сном, когда я играла себе самой... Каждая моя реплика вызывала смех сидящих в зале актеров, а после слов «грешить и каяться» раздался аплодисменты. Они аплодировали мне...

По дороге домой я купила себе на память об этом замечательном дне игрушку — на де-

ревянных качелях раскачивались две девочки с косичками. Мне подумалось, одна из них — я, подброшенная сегодня к самому небу. И не имело никакого значения, что Коонен к вечеру, конечно, поправилась — я в этот день играть и не рассчитывала.

Важно было, что судьба как-то повернулась...

...В те времена у него в ходу были всевозможные упражнения.

— Если вы волнуетесь, — считайте квадратики на этом куске занавеса (или цветы на лужайке, или полоски на платье), Это поможет сосредоточиться, — предлагал он.

Я ненавидела эти упражнения, но не смела возражать.

— Ну, что, помогает вам счет? — спросил он меня однажды.

— Еще хуже. Не знаю, что делать, — честно и мрачно ответила я.

— Как — что делать? — расхохотался Константин Сергеевич. — Не считать, вот и все! Я же иду то, что может помочь, а артисты все разные. Вам не помогает счет — бросьте.

С меня будто камень свалился. И сколько раз после, слушая разговоры о «системе» Станиславского — что в ней можно, чего нельзя, — я вспоминала этот маленький диалог и думала: все, что помогает актеру, режиссеру обрести правду на сцене, и есть система, и нельзя заковать ее в правила и параграфы, в утверждение формы или в отрицание условности. Любая форма, условность, любые приспособления хороши, если помогают добиться «истинных страстей и правдоподобия чувств». И только фальшь губит, разрушает все...

* * *

Не знаю, где найти слова, не оскорбляющие банальностью,

чтобы рассказать о Качалове, — все о нем известно, исследовано, написано...

Качалов нравился мне во всех ролях, поражал разнообразием и обилием красок. Для Иванова, Гамлета, Пер Баста, Карено хватало бы одной его красоты, чтобы вызвать восхищение. Но Качалов не любовался своей красотой на сцене, — достаточно вспомнить лишенного всякой внешней привлекательности, тихоскромного Тузенбаха, одутловатого, опухшего Барона, наконец, страшного Анатэму. Чем притягательны были они, почему и от них нельзя было глаз оторвать? Мне скажут — талант. Да, талант великолепный, блистательный. Но я знала артистов и очень красивых и очень талантливых. Только не встречала вместе с этим такого благородства — оно делало Качалова единственным. Его душевный аристократизм и сердечная доброта окутывали все его роли, просвечивали сквозь них.

Позтому за блеклостью Тузенбаха угадывалась поэтичность и чистота души, а глядя на испитого, оборванного Барона, легко можно было представить себе его прежнего — с другим лицом, в другой одежде, с другой пластикой.

...Качалов любил своих героев, жалел, сочувствовал им, а если осуждал — так без злобы. А его голос — такой сильный, наполненный, весь в блестящих и матовых переливках... Его пытаясь оживить лежащая на моем столе пластинка. Но она лишь напоминает — повторить не может, потому что волшебство искусства Качалова невозможно без него самого. Он жил жизнью образа, выдел мастерством перевоплощения, никогда не восстанавливая то, что сделал вчера, — всегда творил заново.

...А как тактично умел он подерживать своих товарищей по театру. Когда Марджанов начал работу над спектаклем «У жизни в лапах», актеры встретили его вежливо, корректно, но холодно. Качалов же после каждой репетиции рассказывал всем о малейшей его удаче, о

любимой режиссерской находке — и постепенно таял лед, приходило доверие, тепло. Или, например, у кого-нибудь не идет роль. Качалов не кривил душой, он просто отмечал то, что получалось — хоть одна реплика, да прозвучит правильно, — и в актерской душе загорелась надежда. Даже нас, бессловесных сотрудников, не обходил он вниманием. Стоило хорошо выполнить простейшую задачу — и уже слышишь: «Молодец! Как великолепно вы это сделали!»

...В нем был развит острый интерес к людям, они оставляли след в его душе. Василий Иванович помнил имена случайных знакомых, обстоятельства давних встреч. При этом глаза его глядели так внимательно, голос звучал так участливо, что каждая женщина чувствовала себя молодой и привлекательной, каждый мужчина — умным и интересным и всем хотелось быть как можно лучше. Эта манера — не любезность, а уважение — тоже входила в понятие его таланта и обаяния, ей можно и должно учиться...

Он ходил по московским улицам свободно, широко, спокойно (кстати, не знаю, как это объяснить: мне он представлялся настолько «московским», что любой город, где я его встречала, казался Москвой). Так неторопливо и легко нес свою статную фигуру, так радушно раскланивался с людьми — с ним часто здоровались и знакомые — так без манерности, напыщенности, но с долей торжественности представлял свой театр, свою профессию, что будничные день становился воскресным и многие — бегущие, опаздывающие — останавливались и улыбались этому идущему навстречу празднику. Он являл собой дивное слияние артиста и человека — оно делало его совершенным. Слыша тысячекратно: «В человеке все должно быть прекрасно...», я всякий раз думала о Качалове.

* * *

Работа над ролью Нелли («Униженные и оскорбленные») Ф. Достоевского. — Прим. ред.)

памятна мне еще одним замечательным обстоятельством — в ней я единственный раз, совсем чуть-чуть, но соприкоснулась с Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом.

Мы жили в одном доме, его квартира располагалась под нашей...

— Гиацинтова, переходите в мой театр, у нас интереснее! — кричал он иногда мне вслед.

Я только весело махала ему рукой и торопливо убегала на репетицию — в свой, в единственный, в наш театр.

...Его своеобразие, его «единственность» были не придуманными. Он вечно напряженно искал ответа на вопросы, пульсирующие в его дерзком мозгу, постоянно наблюдал за всем, соотнося впечатления со своими мыслями. Ему, по-моему, всегда нужны были зрители, слушатели. Однажды, встретившись, он подхватил меня под руку и быстро заговорил, будто продолжая разговор:

— Вот вам обязательно нужно все понимать? Почему? А если я вам скажу — идите направо, вы непременно спросите меня — зачем?

— Всеволод Эмильевич, — отвечала я почитительно, но твердо, — я или спрошу, или сама это решу, но бессмысленно не пойду.

— А если Станиславский скажет вам «сядьте!» — сядете?

— Немедленно.

— Ага! Почему же?

И, не дожидаясь ответа, бросил мою руку, пошел — его мое мнение интересовало, а какие-то собственные мысли беспокоили.

Видала я его и «домашним». Возвращаясь домой, мы с Берсеневым поднимались мимо квартиры Мейерхольда и обычно громко, весело обсуждали события дня или только что окончившийся спектакль. Услышав голоса, Всеволод Эмильевич распахивал дверь.

— Нет, вы мне объясните, — серьезно, даже сердито спрашивал он, — как вам, давно женатым и служащим в одном театре, удается сохранять такой интерес друг к другу, чтобы без

конца разговаривать, так счастливо хотеть и, по-моему, даже целоваться?

В ответ мы снова смеялись потому что этот вопрос нам в то время часто задавали...

...Он иногда бывал в нашем театре, главным образом из-за Чехова. Но «Униженные и оскорбленные» тоже чем-то его заинтересовали — пришел на спектакль.

Уже поздно вечером, поднимаясь к себе, мы в тусклом свете лестничной площадки на третьем этаже заметили сухощавую, чуть сутуловатую фигуру.

— Стоп! — раздался властный голос, и я увидела перед собой большой острый нос и глаза Мейерхольда, всегда беспокойные и рождавшие во мне ответное волнение.

Он хвалил меня, сказал, что принимает все, кроме самого момента смерти Нелли.

— Вы падаете балетно, а она должна сломаться. Хотите, попробуем? — неожиданно предложил Всеволод Эмильевич.

Наверное, никто в мире, кроме актеров, не поймет, почему, не войдя ни в одну из двух квартир, уставшие после спектакля артисты и знаменитый режиссер репетируют ночью на холодной лестнице спящего дома и считают это естественным. Подчиняясь Мейерхольду, я снова и снова падала на какое-то старое пальто, вытасченное им из дома, а сидящий в «амфитеатре», на несколько ступеней выше площадки, Берсенев давал зрительскую оценку. Это были дивные минуты моей актерской жизни! Наконец удовлетворенный Всеволод Эмильевич отпустил нас, а на следующем же спектакле поняла, что только теперь все в моей игре — правда. И много раз мысленно благодарила его. Он подарил мне не только репетицию и правильное решение мизансцены. Мейерхольд передал урок служения искусству — он, прославленный Мастер, был искренне озабочен и увлечен тем, как улучшить спектакль чужого театра. Казалось бы, «что ему Гекуба»? Ан нет — потому что Художник.